

Землерок
Бялая



ЗМИТРОК
БЯДУЛЯ
ИЗБРАННОЕ

*перевод
с
белорусского*



ГОСУДАРСТВЕННОЕ ИЗДАТЕЛЬСТВО
ХУДОЖЕСТВЕННОЙ ЛИТЕРАТУРЫ
МОСКВА 1958

Составители М. Климкович и М. Бядуля.

Перевод Б. Яковлева

ПОВЕСТИ и РАССКАЗЫ

* I *

ПОЮТ В НОЧНОМ

Поют в ночном.

Слов не разберешь — уж больно заливица песня. Посмотришь, откуда плывет она, и увидишь красный столб с черной короной над ним — то костер в ночном.

Поют в ночном.

Звучная печальная песня летит к небу, к звездам... Это стон забитой жизни, тоска тяжелого труда, исповедь долгой недоли, испытание веры под ударами темной кривды.

Поют в ночном.

Какой могучей подмогой бываешь ты, правдивая, святая песня! И в грустный час и в радостный заглядываешь ты в наши души. Ты смягчаешь наше неизбежное горе, ты облегчаешь наш труд, ты утираешь кровь и пот, внушаешь надежду и бодрость и, рисуя серую жизнь, утешаешь верой в лучшее. Слышит тебя наша душа, и радуется, и летит вместе с тобой к светлому небу.

Поют в ночном.

Искренни песни и полны задумчивости, как темное небо, что нависло над нами. Словно белые туманы над рекой, окутывают они душу, и на зов тех песен отвечают струны твоего сердца, а в глазах слезы блестят...

Поют в ночном.

1910

ЛЕТОПИСЦЫ

Душная темная ночь.

Все семейство Мирона спит в пуне на свежем сене. Не спится только старому Мирону и его восьмилетнему внуку Андрейке. Дед прикидывает, как бы потише выбраться из сарая, чтоб невестка не услышала, да написать письмо сыну. Андрейка держит в руках свисток, который днем смастерил ему из лозы дед, и тихонько посвистывает. Остальные сладко спят после работы на сенокосе, точно после ярмарки. Дед озирается по сторонам и осторожно приподымается с места.

— Андрейка! — шепчет он нетерпеливо. Андрейка знает, что дед позовет его в хату писать письмо. Мальчик проворно пробирается к старику. Дед берет его за руку и с таинственным видом прижимает палец к губам. Андрейка понимает, что это означает: «ни гу-гу» — нужно молчать, будто воды в рот набрал.

Таким образом добираются они до ворот пуни. Дед открыл их так ловко, что ворота и не скрипнули. Заговорщики вышли во двор.

Но тут опять заколотилось сердце у деда: всё помехи разные, пропади они пропадом! То Жучка, чтоб ее хвороба взяла, заворчит — услышат в пуне, шум поднимут. То этому плутишке Андрейке не терпится свистнуть, да так, чтоб эхо отдалось во все стороны, чтоб лихо на метле прилетело.

Дед отобрал у внука свисток и сунул себе за пазуху. Воровато оглядываясь, вошли они в хату.

— Дедка, отдай свисток!

— Только, Андрейка, потише, а то всех чертей разбудишь,— просит дед и отдает свисток.

Андрейка в потемках запрыгал и засвистал.

Дед зажег лучину и вынул из-за образов лист бумаги, который днем выменял в местечке на веники.

— Ну, теперь, коток ты мой,— сказал дед Андрейке,— отдай мне свисток, покуда письмо не напишешь, а потом я тебе его верну. Начинай, как говорится, с богом.

Андрейка не отозвался, только с особенным смаком свистнул в последний раз — громко и протяжно, старательно вытер свисток о штанишки, отдал его деду и достал с полочки чернила и ручку с пером. Примащивался-примащивался Андрейка на топчане у стола и никак не мог усесться так, чтобы удобно было писать. На беду, топчан был низок, а стол высок, и, усевшись, Андрейка едва доставал до стола носом.

— Хоть носом пиши! — пошутил Андрейка.

Дед промолчал, воткнул лучину в закопченную щель у окна, вышел озабоченный в сенцы, притащил корыто и положил на топчан, чтоб Андрейка пристроился повыше. И все-таки было низко. Андрейка доставал до стола только подбородком.

— Хоть бородой пиши! — снова пошутил Андрейка.

Дед и на этот раз не сказал ни слова. Еще более озабоченный подошел он к шестку, вынул из печи закопченную заслонку и положил на корыто. Андрей уселся на заслонку.

— Вот теперь, дедка, в самый раз! — сказал он, двигая заслонку руками и пачкая их сажей.

Он поболтал под столом загорелыми ногами и уперся в него коленками.

Теперь во всех движениях мальчугана чувствовалась таинственность настоящего заговорщика. Видно было, что в этом Андрейка находил особое удовольствие. Он взял перо в руки, и на лице его отразилось горделивое сознание собственной учености. Вспомнилось ему, как он много раз расписывался за неграмотных на повестках, которые десятник приносил из волости. Он выводил тогда рукой этак, крутил так, и выходило: «Андрей Адамов Вайда».

Андрейка сунул перо в чернила, позабыл стряхнуть его и перво-наперво посадил черную кляксу величиной с медный пятак. В школе это называется «булка». Старый учитель за этикие «булки» так сильно крутит ухо, словно веревку вьет, а школьник на все лады кричит:

— А-а-а-ай! А-а-ай!..

Дед подумал, что черный кругляк на бумаге делается для фасона. Он перенес лучину поближе к Андрейке. Внук поднял белую головенку и пожаловался:

— Дым в глаза лезет. Писать не могу.

Дед отодвинул лучину.

— Ну? — спросил Андрейка.

Это означало:

— Скажи, дедка, что писать-то?

Но тут мальчик вспомнил, что солдат Матей, который всем письма пишет, да еще так ловко, никогда не допытывается, с чего начинать. Солдат Матей всегда сам начинает:

«За дубовым столом пишу золотым пером милостивому государю с низким поклоном, желая успеха в делах ваших...»

Андрейка выпучил глаза, высунул язык, засопел и принялся старательно выводить буквы. Он хотел написать их на диво красивыми, а выходили они у него совсем неказистыми. Выпачканная сажей рука оставляла следы на бумаге: ручейки да дорожки.

Перо ползло по листу, как тяжелый воз по старой гати.

Так он кончил «зачин», весьма довольный собой. Это будет приятной неожиданностью для деда.

— Нос! Нос! — закричал вдруг дед так тревожно, как будто хата загорелась. — Бумагу испортишь!

Андрейка едва-едва уберег чистый лист.

— Прочитай, что ты там накатал, писарь ты мой, — не вытерпел дед. — Поглядим, какого ты поля ягодка, какого гнезда пташка.

Андрейка начал читать по складам: «За ду-бо-вым сто-лом пи-шу зо-ло-тым пе-ром» — и так далее. Деду это показалось превосходным. Он сам был охотник до умного разговора и любил подчас загнать, подсыпать, отхватить ядреное словечко, да такое, чтобы у соседа глаза на лоб полезли, словно он хрену нанюхался. Деда по всей округе

считали превеликим умником. Андрейка очень обрадовался, что деду понравилось, и попросил у него свисток.

— Нет, нет, не дам сейчас. Не приставай, смола.

— Да-а-ай! — клянчил Андрейка.

— Нет! не дам!

— Хоть разок свистну!

И они посмотрели друг другу в глаза.

— Дай!

— Не дам!

— Писать не буду.

Дед встревожился.

— Один только раз, говоришь? Ой, гляди, чтоб тот раз не испортил весь сказ!

— Ей-богу, разок только!

Андрейка заерзал на месте и умильно посмотрел на деда.

Дед протянул ему свисток. Мальчик так и впился в него. Свистнул раз, не выдержал — и свистнул снова. На дворе залаяла Жучка.

Дед испугался.

Андрейка вернул свисток.

— Ах ты, воробей! — упрекнул его дед. — Я ж сказал, что нельзя сейчас! Еще поспеешь с козой на базар!

Дед спрятал свисток, поправил лучину, приготовил другую и задумался.

Андрейка тем временем засмотрелся на тени, мелькавшие на закопченных стенах.

Дед стал большим-пребольшим — едва полхаты не затенил. А голова Андрейки на стене походила на бадейку. Это его очень забавляло. И вот он принялся одной рукой делать козу. Тень от руки на стене выглядела совсем как козлиная голова.

— Коза, коза, дай молока! М-м-э-э-э! — замэкал по-козлиному Андрейка.

Дед погрузился в свои мысли.

Он припоминал разные обиды, которые нанесла ему невестка за все время, а главное — за последние три года, с тех пор как его сын Адам живет на чужбине. Гонит его злая невестка из хаты, как собаку. Есть не дает...

— Пиши, колосок ты мой, пиши! — говорит он Андрейке. — Так пиши: «Сынок ты мой родненький! Разве

я тебе не батька? Разве не я строил эту хату? Разве не я хозяйевал тут? Вон еще какие мозоли на руках моих...»

Дед поднимает руки и теням на стене показывает свои мозоли.

Голос его дрожит, слабеет. Андрейка пригнулся к столу и тяжело сопит, выводя крупные, нескладные буквы.

Дед поправляет лучину и продолжает, глядя на стену:

— «Адам, сынок ты мой! Скажи, за что такая старость поганая мне! За что такое наказание? Как это говорят: бьют и плакать не дают. А почему?»

Сознание незаслуженной обиды переполняет деда гневом. Его глаза устремлены в неведомую даль. Дед ждет ответа на свое «почему?» и снова диктует:

— «Вчера Авдотья, женка твоя, гадина, стала, как говорят...»

— погоди! — кричит Андрейка, — я еще там не кончил писать-то!

Дед осадил, как взнузданный конь, которого потянули за вожжи.

— А что ты там, колосок ты мой, написал? — допытывается он. — Давай-ка послушаем да затылок почушаем.

— «Разве я тебе не батька», — читает медленно Андрейка. — Как дальше, дедка, ты сказал?

Но дед уже забыл, что он диктовал раньше. Сейчас ему хочется выговориться, излить все, что накипело на душе. Он чувствует, что нужно это сделать хоть перед кем-нибудь. Тогда, может, полегчает.

— Ага! Ага! — пытается он вспомнить. — Вот хоть бы за язык кто потянул. Дери лыко, пока дерется.

— «А вчера невестка так пихнула меня от стола, аж старые косточки мои чуть не рассыпались. — «Лентяй!» — кричит. — Как это говорят, был конь да изъездился. А топчан этот разве не я смастерил? А стол этот кто сделал, коли не я? Куды ни кинь — всюду мой клин».

Дед закашлялся и долго держался за грудь.

— «Что ж мне делать? Хоть с торбой по людям иди. Не по Сеньке шапка, как говорится. Да и торбы нет. Ой, жизнь ты моя горькая, будто полынь! Вот, не хочешь, а живешь. Ты на гору, а чорт за ногу. Чего ж ты, боженька, смерти-избавительницы не шлешь? Такое житье мне, как тяжкий жернов на спине. Коли на дно покатишься, так и за бритву схватишься, как говорят».

Дед снова закашлялся.

— Какой себе доли человек хочет? А? Это ж баламутство — просить на свою голову погибель. А я вот прошу, право-слово, прошу.

Из его мутных глаз потекли слезы.

Дед почувствовал их на своем иссохшем лице, и ему стало жаль себя. Он заплакал тихо, глухо, стыдясь своих слез, и зашамкал беззубым ртом, будто хлебнул горячей воды.

Прошло несколько минут. Полегчало деду. Словно то твердое и колючее, что комом стояло в горле, прошло внутрь. Он закурил трубку, поправил лучину и присел на топчан.

Андрейка сбился с панталыку. Спать ему хотелось, и не мог он толком добиться, что писать.

— Так скажи, дедка, что писать-то?

— Пиши, коток, пиши! — строго сказал дед.

— «Говорят люди, — спроси у людей, а свой разум имей. А хозяйство она, ведьма, так ведет, что упаси ты, боже! Как это говорится: для собаки сена косить».

Дед пересчитывал на пальцах:

— «Буланка околела. Корова еле ноги волочит. Сено погнило. Коли я ей что скажу, она только огрызается. Хоть ты перед ней маком рассыпся — не помогает! А я табачку не могу достать. И увидимся ли мы еще с тобой? С глаз долой — из сердца вон, — как говорится. А я все слабею, сынок ты мой. Земля-матушка к себе тянет. А кто мне глаза прикроет? А кто похороны по-людски справит? А кто свечку поставит за душу мою грешную? Как ни крути — от смерти не выкрутишься».

Дед умолк. Тряслась его лысая голова.

Ночной мотылек кружился над горящей лучиной. Андрейка засмотрелся на него. Отложил ручку и давай ловить.

Он поймал мотылька, но тот выскользнул, оставив на пальцах липкую пыльцу. Хлопчик больше не гонялся за ним, и мотылек снова заметался над огнем. Андрей смотрел на него долго-долго, покуда глаза не затуманились. Разноцветные круги над дедом рябили в глазах. Мальчик зажмурился. Дед сделался совсем махоньким. Все слилось, расплылось и... писец заснул, посадив новую черную «булку» на бумагу, да еще побольше, чем первая.

Долго размышлял дед. Но если спросить у него, о чем он думает, не знал бы, что и ответить. Мысли его смешались, будто кто железными вилами перевернул все вверх тормашками. В старой груди болело, щемило...

— Заяц мне дорогу перебег,— сказал дед и закивал головой.— Сдается, никому я на свете ничего плохого не сделал. Не коптил неба, не портил хлеба, как говорится. Пиши, Андрейка, пиши!

Андрейка захрапел. Кошка прыгнула с шестка. Осторожно и беззвучно подошла к столу, вскочила на топчан и, сверкнув глазами, прижалась к Андрейке.

— «И чего же ты про меня забыл, сынок? — с обидой размахивал дед левой рукой.— Никогда копейки какой не пришлешь, а она мне дозарезу нужна».

— Пиши, Андрейка, пиши, колосок!

Не видит дед, что внучонок давно уже спит.

— «Разве ты мне не сын? Разве я не батька тебе? Сдается, не совсем-то чужие».

Но туго натянутая тоскливая струнка вдруг лопнула. Он вспомнил: сын просил писать обо всем, что делается в деревне. Дед вошел в обычный строй жизни, где грустное причудливо перемешано со смешным.

— Эх, глупости! — махнул он рукой — что с того, коли старый Артем лучше живет! Не говори «гоп», пока не перескочишь. «А Микитенок вчера коня купил в Долгинове, да хромой, падаль, и Микитенок, можно сказать, задаром сунул сорок рублей цыгану, чорту лысому. Ободрали, как сидорову козу. Тодора летось померла. Семке Халимона Бурого на вечерке голову пробили, и через три дня поехал он на тот свет к Абраму за пивом, как говорится, и батька его такой же рисковый был: каков чорт Хомка — такая у него и женка. А я уже и вкус-то водочки забыл: не пробовал, почитай, три года. Никто мне не поднесет: дите не плачет, мать не разумеет... как говорят».

— Пиши, Андрейка, пиши!

— «Никто старого не пожалеет; сдается, хлебнул бы чарочку, как росу свежую, и отогрелись бы косточки мои старые, кровь потеплела бы. И летом в кожухе мыкаюсь,— холодно мне, мороз из костей идет. А кожух уже сгнил на моем горбу. Как это говорят: не купил батька шапку — нехай уши мерзнут».

Новости сыпались из уст деда, как бусы с порванной нитки.

— «А наша Жучка уж не брешет, как бывало — только похрипывает. Прошли те века, когда паны брались за бока».

— Пиши, Андрейка, пиши!

— «Голанский петух долго хворал, а все-таки выжил всем на радость. Как это говорят, коли повезет, так и Филимон в пляс идет».

От мудрости своей дед повеселел и настроился на обычный лад.

— «А Настя выдала Марылю за Максима-замарашку. Может, помнишь того хлопца, который завсегда раззявой ходил, как собака, что мух ловит?»

— Пиши, Андрейка, пиши.

— «Нехай и моя четвертинка будет, как говорят. И Матеева женка, та жаба сухая, летом за...»

Но дед вдруг замолчал: лучина погасла.

— Андрей! Андрей! Куда спички положил?

— А? — всполошился Андрейка. — Баранок купишь мне на копейку?

— Куплю, куплю, колосочек мой, взялся за гуж, не говори, что не дюж...

Но Андрейка снова заснул. Ему снилось, что дед принес баранок из корчмы. Андрейка нацепил их на веревочку и бежит по деревне, подпрыгивая, с песенкой:

Гоп-гоп! И-га-га!
На Буланке едет Янка,
Полтора ста рублёв санки,
Пятьдесят рублёв дуга,
А кобыла — полрубля!
Гоп-гоп! И-га-га!

Дед вышел в темные сенцы искать, где яйца лежат, чтобы утречком поплестись с ними на базар в местечко. Долго шарил он спички и страшно ругался, обнаружив их у себя за пазухой.

Потом дед разбудил Андрейку, и они отправились на сеновал. Старик шел и бормотал:

— Что ж! Выше пят не подскочишь! Завтра допишем письмо...

А И С Т Ы

— Аисты прилетели! Видать, уж и впрямь весна,— говорили хоминцы.— Ну, теперь по крайней мере веселее у нас станет!

Аистами прозвали семью, которая каждой весной, вот уж лет десять подряд, приходила на все лето в Хомино копать известь. Высокие и длинноногие, они и впрямь подходили на аистов.

Отца звали Михайлой. Средних лет, лохматый, с длинной и черной, как вороново крыло, бородой, он ходил в долгополой, подпоясанной лыком сермяге. К зубам его словно приросла трубка, а всем обликом своим он напоминал сурового древнего патриарха.

Старший его сын Семка — парень лет около двадцати — здоровый, пригожий, как говорится, кровь с молоком. Строен он, будто тополь, и чуть ли не на голову отца перерос. Младший сын — Габрусь — хоть и подросток еще лет тринадцати, но и тот уже вытянулся без меры. Только жена Михайлы была маленькой, сморщенной, как грибок, старушонкой.

Люди трудолюбивые, Аисты жили хоть и не богато, но, видать, и не бедно. Их появление оживляло не только глухую деревеньку, но вслед за ней и всю округу. Их любили. Парни и девушки нанимались копать, а у кого была лошадь — тот зарабатывал фурманкой, — развозил известь. Кроме того, вместе с Аистами не страшно было и загулять на ярмарке: в драку они шли смело и охотно, как в пляс, и за своих стояли стеной.

Известняковая гора находилась за версту от деревни. Там, около печи, Аисты построили себе шалаш и жили в нем до поздней осени.

На этот раз Аисты пришли в воскресенье, и хоминская молодежь целой толпой сошлась в свободный час потолковать о будущих заработках да порасспросить о том, что на свете творится.

Издалека уже виднелся огонь, весело взлетающий ввысь возле печи. Еще подмораживало, но ожившая озимь и голубые подснежники радовали взор. Подойдя к костру, возле которого на толстенной колоде расселся Семка и перебирал переливчатые лады гармоники, парни и девушки приветливо здоровались и весело перекидывались словечками с молодыми Аистами. Из шалаша доносилась ругань Михайловой жены, а сам он, точно медведь, время от времени только огрызался:

— Все на твою голову! На твою голову, будильник проклятый!

Будильником Михайла прозвал жену за то, что она аккуратно трижды в день и — неизменно в одну и ту же пору — с поводом и без повода бранила его. Заслышав ругань, Михайла узнавал, пришла ли пора идти на работу, обедать или ужинать.

— Чтоб ты в небо глядел да солнца не видел! Чтоб от ветра ноги твои тряслись! — отчитывала мужа Михайлиха.

— На твою голову! — буркнул напоследок Михайла и вышел из шалаша, смешно размахивая длинными ручищами.

— Вечер добрый, благодетели мои! — гаркнул Михайла собравшимся. — А знаете, братки, будильник мой что-то портиться стал: охрипла моя баба и даже ругаться уж не может по-человечески, а, бывало, ведь такую музыку заведет, только эхо разносится. Старость-то не радость! Ну, что слышно у вас, благодетели мои? — спрашивал, здороваясь, Михайла.

— Эх, что у нас услышишь? — отозвался один. — От лиха тихо, а про добро не слышно, как говорится.

— Слава богу, хоть от лиха тихо, — ответил Михайла, поглаживая бороду. — А как у вас сено? Все так же по шестьдесят копеек за пуд? — допытывался старый Аист.

— Так было, а теперь подешевело. Овцы, свиньи, тол-

кутся уж целый день на выгоне, коней тоже выгнали в поле, только волов сеном подкармливаем,— ответил кто-то. Семка тем временем поглядывал на девушек, которые шушукались да пересмеивались.

— Сыграй что-нибудь, Семка! — попросила одна.

— Ишь чего захотела! — отозвался Семка, улыбнулся и будто нарочно опустил гармонь на колени.

Костер разгорался и пылал все ярче. Около огня вертелись младший брат Семки и лохматый пес Разбой.

— Сыграй, Семка, сыграй! — не отставала девушка.

— Лучше я тебе спою, да и то на ушко, чтобы никто не подслушал! — вмешался приземистый Тарас, известный балагур, и, подобравшись к девушке, уже разинул рот, но все девчата, точно гусыни, накинулись на Тараса и отпихнули его.

— Вот сороки этакие! К ним и не подступишься: одна за другую глаза готовы тебе выцарапать! — пошутил Семка.

— А как же! Не трогай беса, пока спит,— согласился Тарас.

— Давайте, хлопцы, игру какую-нибудь затеем! — предложил один подросток.

— Может, поборемся?!

— Бороться! Бороться! — подхватили все парни.

— Эх, лучше бы поплясали хоть малость! — воскликнула с сожалением черноволосая девушка.

— Напляшешься еще досыта за свой век, хватит с тебя! — обиженно возразил Тарас.

Тем временем парни уже выбрали ровное место поближе к огню и, пара за парой, принялись пробовать силы.

Сначала борьба шла спокойно, перебрасывались словечками, шутили, но вскоре борцы разгорячились.

— Ножку не подставляй! Это подвох! — кричал один.

— А ты, Микитенок, не кусайся, гад! Тут тебе не собачья свадьба! — огрызнулся другой.

Парни сопели и хрипели, точно кузнечные мехи. У некоторых из-под чубов даже пар шел. Один только Семка был спокоен, как человек, который себе-то уж цену знает. Поборол он решительно всех, а на нем и усталости не видно.

— Давайте в перетяжки! — предложил один из самых рьяных.

— В перетяжки! В перетяжки! — закричали все.

Перетяжки устраиваются так: выбирают крепкую палку, два парня садятся на землю — один против другого, выпрямляют ноги, упираются подошвами, тянут руками палку каждый в свою сторону и конечно — сильнейший перетянет. Семка и здесь всех осилил.

— Ну, и дюж! — с завистью сказали хлопцы.

Девушки подшучивали над незадачливыми парнями.

Михайла все время стоял вдалеке и молча любовался сыном, но, наконец, не выдержал и подошел поближе. Видать, и старику были любы этикие штуки.

— Ну, кто же из вас всех дюжее, хлопцы? — спросил Михайла.

— Известно кто: где ж нам с твоим Семкой равняться! Парень ровно дуб!

— Вот как! — удовлетворенно улыбнулся Михайла. — Ну, благодетели мои, а кто со мной, стариком, силушкой померяется?

Все поглядели на рослую фигуру этого медведя и молча отвернулись.

— Так вот вы какие? — удивился Михайла. — А так хочется вспомнить свои годы молодые да старые косточки поразмять. Ну, что ж поделаешь: коли брезгаете вы, может сын родной не побрезгает. Семка! А ну, давай-ка, брат!

— Что ж, татка, давай! — спокойно ответил сын.

— Го-го-го! — захохотали все. — Вот когда батька с сыном потягаются! — и тесно обступили их со всех сторон.

Михайла с Семкой увлеклись перетяжкой, но ничего не вышло: ни тот, ни другой не поддавался!

— Коли так, — сказал Михайла, уже сгоряча, — давай, сынку, поборемся!

— Давай! — ответил Семен и сбросил пиджак.

Все так расхохотались, что даже Разбой залаял; вышла из шалаша и Михайлиха посмотреть, что это тут происходит.

— Ой-ой-ой! — сразу запричитала она. — Батька с сыном... Старый ровно малый. Рехнулись оба! А, чтоб вас передушило!

Торжественно, спокойно сошлись отец с сыном.

— Только без хитростей! — важно предупредил Михайла.

— Вестимо, без хитростей! — ответил Семка, чуть-чуть отвернувшись от отцовской бороды.

И два великана обхватили друг друга железными ручищами. Парни подбросили сучьев в костер, чтобы виднее было. А оба богатыря поднимали друг друга, стараясь швырнуть оземь, но это ни одному не удавалось: ноги обоих будто вросли в землю. Они уперлись грудью в грудь — так тесно, точно срослись вместе, и вертелись, словно в пляске.

— Вот-вот! Старый его свалит!

— Вот-вот! Он уже поддается!

— Не дай маху, Семка! — подбадривали хлопцы.

А у борцов и на самом деле кости хрустели. Наваливаясь друг на друга, они, казалось, ребра хотели переломать. Страшны были даже тени, которые мелькали рядом.

Порой они, обхватив друг друга, будто застывали, словно о чем-то перешептывались. Каждый, видать, придумывал, как бы половчее свалить другого. Пот градом катился по их лицам. Глаза разгорелись. Жилы, как веревки, натянулись. Всем зрителям стало жутко.

— Гляньте, что Аисты выделывают: батька с сыном сцепились, — дивились парни.

А борцы, казалось, задушить хотели друг друга.

— Да будет уж вам, крещенные! — взмолились девушки.

— Г-э-э-э-э!! Г-э-э-э! — стонали Аисты.

— Во-во-во! — крикнули вдруг все сразу.

Михайла пригнул Семку к земле. Тот уж чуть-чуть и руки не расцепил, но вот ноги его снова, как стальные пружины, выпрямились, и он подскочил вверх, будто кто-то снизу обжег его горячими угольями. В одно мгновение Семен обхватил батьку, прижал к себе, поднял его и разом швырнул изо всех сил на землю. Парни и девушки умолкли. Только угли потрескивали в костре.

Семен бросился к лежащему отцу, приподнял его и поцеловал ему руку. В глазах парня светилась и гордая радость и скорбь. А старый Аист только погладил сына по лохматой голове и сказал:

— Не гневаюсь, сынку, не гневаюсь! Вам, молодым, нужно пробивать себе дорожку и силой, и работой.